
А.Я. Панаева (Головачева)¹

Из воспоминаний

О появлении комедии Островского «Свои люди — сочтемся!» много было разговоров в кружке. Некрасов чрезвычайно заинтересовался автором и хлопотал познакомиться с Островским и пригласить его в сотрудники «Современника».

Не помню, через посредство кого произошло знакомство Островского с кружком «Современника», но очень хорошо помню обед, на котором в первый раз присутствовал Островский и на который были приглашены все сотрудники «Современника».

Островский первый раз явился в кружке с актером И.Ф. Горбуновым, тогда только поступившим на императорскую сцену на самые маленькие роли.

Впрочем, и впоследствии в каждый свой приезд из Москвы Островский постоянно являлся в сопровождении Горбунова.

Обед, данный для Островского, был очень оживлен, потому что Горбунов потешал всех своими рассказами. Островский любовно улыбался на рассказчика, как любящий отец на своего сына, а Горбунов благоговел перед Островским, и это благоговение было самое искреннее.

Я никогда не слыхала от Островского каких-нибудь рассказов о частной жизни литераторов. Хотя Островский и жил в Москве, но это не помешало любителям распространять слухи о его частной жизни: будто он пьет без просыпу и толстая деревенская баба командует над ним.

Когда рассказчику заметили, что Островский, кроме белого вина, ничего не пил за обедом, то на это следовало объяснение, что Островский, приезжая в Петербург, боится выпить рюмку водки, потому что тогда он уж запьет запоем. Но, кроме слухов о его частной жизни, появились и другие.

Раз прибегает в редакцию литератор, известный вестовщик всяких новостей, и, совершенно как в «Ревизоре» Добчинский, захлебываясь, передает, что «Свои люди — сочтемся!» принадлежат одному пропившемуся кутиле, купеческому сыну, который принес рукопись Островскому исправлять, а Островский, исправив ее, присвоил себе. Когда стали стыдить литературного Добчинского в распространении нелепой новости, то он клялся, что это достоверно, что его знакомый москвич знает этого кутилу купеческого сынка, который сам ему жаловался на Островского в утайке его рукописи.

Очень смешно мне было видеть, когда литературный Добчинский присутствовал при чтении второй комедии Островского и восторгался новой его пьесой, забыв уже, что усердно распространял нелепейшие слухи о присвоении им чужой рукописи.

Островский читал свои пьесы с удивительным мастерством: каждое лицо в пьесе — мужское или женское — рельефно выделялось, и, слушая его чтение, казалось, что перед слушателями разыгрывают свои роли отличные артисты. Много было неприятностей и хлопот Островскому, чтобы добиться постановки первой своей комедии на сцену, но потом каждая его новая пьеса, поставленная на Александринской сцене, составляла событие как для артистов, так и для публики, а также для дирекции, потому что сборы были всегда полные.

Островский, когда ставились его пьесы на сцену, приезжал из Москвы и много возился с артистами, чтобы они хорошенько вникали в свои роли. Островский чуть не до слез умилялся, если артист или артистка старались исполнить его указание. К Мартынову он чувствовал какое-то боготворение. Островский был исключением из драматургов

¹ Авдотья Яковлевна Панаева (1819–1893) — писательница, сотрудница журнала «Современник» (псевдоним — Н. Станицкий), гражданская жена Н.А. Некрасова.

по своей снисходительности к артистам. Он никогда не бранил их, как другие, но еще защищал, если при нем осуждали игру какого-нибудь из артистов.

— Нет, он, право, не так плох, как вы говорите! — останавливал Островский строгого критика. — Он употребил все старание, но что делать, если у него мало сценического таланта. <...>

Островский приехал в Петербург летом хлопотать о постановке своей комедии на Александринской сцене, а в это время уже готовилась Крымская война.

За обедом присутствующие только и говорили, что о войне, Островский не принимал никакого участия в жарких спорах и предстоящей войне, и когда Тургенев заметил ему, — неужели его не интересует такой животрепещущий вопрос, как война, то Островский отвечал:

— В данный момент меня более всего интересует — позволит ли здешняя дирекция поставить мне на сцену мою комедию.

Все ахнули, а Тургенев заметил с многозначительной улыбкой:

— Странно, я не ожидал такого в вас равнодушия к России!

— Что тут для вас странного? Я думаю, что если бы и вы находились в моем положении, то также интересовались бы участием своего произведения: я пишу для сцены, и, если мне не разрешат ставить на сцену свои пьесы, я буду самым несчастнейшим человеком на свете.

Когда Островский и другие гости разъехались и остались самые близкие, Тургенев разразился негодованием на Островского:

— Нет, каков наш купеческий Шекспир?! У него чертовское самомнение! И с каким гонором он возвестил о том, что постановка на сцену его комедии важнее для России, чем предстоящая война. Я давно заметил его пренебрежительную улыбочку, с какой он на нас всех смотрит. «Какое вы все ничтожество перед моим великим талантом!»

— Полно, Тургенев, — остановил его Некрасов, — ты когда расходишься, то удержи тебе нет! В тебе две крайности — или ты слишком строго, или чересчур снисходительно относишься к людям; а насчет авторского самолюбия, то у кого из нас его нет? Островский только откровеннее других.

— Я, брат, при встрече с каждым субъектом делаю ему психический анализ и не ошибаюсь в диагнозе, — ответил Тургенев.

Некрасов улыбнулся, да и другие также, потому что было множество фактов, как Тургенев самых пошлых и бездарных личностей превозносил до небес, а потом сам называл их пошляками и дрянцой...